

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН

— • ◡ • —
ЛУННЫЙ ДОЛГ
КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ



Александр Ладогин

Особое присутствие

<https://litres.ru/74658239>

SelfPub; 2026

Аннотация

Кто-то в Петербурге тайно платит по счетам полковника Корсакова.

Кто-то исполняет его невысказанные желания. Но однажды чужая забота обернется смертью.

Корсаков пришёл из 2005 года и остался в начале XX века. Дверь между столетиями ещё открывается, но его сын живёт здесь под чужим именем, а неизвестные благодетели слишком много знают о его семье.

На дворе 1907 год.

Корсаков помнит, чем обернутся потрясения, но не знает судеб людей, оказавшихся на их пути. Охранка собирает его сбывшиеся предсказания, дворцовый комендант втягивает в опасное дело, а невидимые помощники исполняют приказ, которого он не отдавал.

Рядом – верный сыщик, принципиальный сенатор и женщина, с которой он надеется связать судьбу.

Но кому доверять, если даже помощь может оказаться ловушкой?

Он привык разбираться в чужих тайнах. Теперь ему предстоит ответить за собственные.

Четвёртая книга цикла «Лунный долг», которую можно читать и как самостоятельный роман.

Мистика, шпионская игра и Петербург 1907 года.

Содержание

Глава первая. Визиты	5
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Александр Ладогин

Особое присутствие

Глава первая. Визиты

I

Знаменская улица, флигель. 1 января 1907 года, понедельник, утро.

Первым пришёл полотёр.

Он постучал в дверь флигеля в начале девятого, когда Корсаков стоял у окна с бритвой и смотрел, как над каретным сараем светлеет небо, серое, низкое, обещающее снег. Стук был особенный: два раза костяшками и один раз ладонью, плашмя. Так стучат те, кого ждут, но кому не уверены, что рады.

Корсаков открыл. На пороге стоял немолодой мужик в чистом армяке, с красными от мороза ушами, и держал шапку обеими руками у груди.

— С Новым годом, с новым счастьем, барин, — произнёс он. — Полотёры мы. Вчера натирали.

Корсаков помнил, что вчера натирали. Вчера он вернулся с Таврической в восьмом часу, и в сенях пахло воском так густо, что хотелось открыть дверь и дышать улицей. Полы во флигеле блестели. Блестели и сейчас, и в них отражались его

ноги в домашних туфлях.

Он дал полотёру полтинник.

Полотёр принял монету, поклонился, поблагодарил, пожелал здоровья барину, барчуку и всему дому, надел шапку и ушёл. Корсаков закрыл дверь, вернулся к окну и взял бритву.

До двери и обратно он дошёл быстро, не думая о ногах, и только у окна поймал себя на этом. Ещё осенью старый перелом левой лодыжки заставлял его считать шаги, а Лёля перевязывала её по вечерам с упорством хирурга, которому попался неудобный больной. К зиме нога зажила: в декабре Лёля отменила повязки, походка выровнялась, и трость отца Велехова, поставленная в угол, больше не выходила из дому. Он был здоров так, как давно не был, весь, от пяток до затылка, и в его годы это было почти неприлично.

Он успел намылить щёку.

Второй постучал через четыре минуты. Это был почтальон.

К половине десятого Корсаков, так и не добившись, сидел на табурете у двери с жестяной коробкой из-под чая, в которую ссыпал с вечера всю мелочь, и составлял в уме устав.

Мысленный устав был старой его привычкой: в девяносто первом году, когда никто не знал, какому начальству подчиняться, молодой старший лейтенант Корсаков раскладывал любую неразбериху по пунктам. Пункты никого не спасали, но успокаивали.

«Устав новогоднего визита в дом мещанина Корсакова. Составлен в боевой обстановке. § 1. Полотёров встречать стоя: они вчера работали. Полтина. § 2. Почтальону двугривенный, он носит Илье газеты и не задаёт вопросов. § 3. Дворнику...»

На третьем пункте устав сломался.

Дворников оказалось трое. Старший, Пахом Ильич, рыжебородый, в новом фартуке поверх тулупа и с бляхой, начищенной до того, что в неё можно было смотреться, пришёл с поздравлением в половине десятого и держался так, будто это он принимает визит, а не наоборот. Младший, Сёмка, тверской парень с оттопыренными ушами, пришёл следом, через минуту, и встал за его спиной. Третьим был ночной сторож, которого Корсаков при дневном свете не узнал.

Устав не предусматривал иерархии внутри дворницкой. Корсаков дал Пахому Ильичу рубль. Сёмке полтинник. Сторожу, подумав, тоже полтинник. Пахом Ильич принял рубль и посмотрел на полтинник в руке сторожа с таким выражением, что Корсаков понял: где-то в дворницкой, в табели о рангах, которую никто никогда не записывал, он только что нарушил порядок. Сторож был ниже Сёмки. Сторож был ниже всех. А получил как Сёмка.

«§ 3, примечание, – отметил он про себя. – Дворницкая есть ведомство. В ведомстве не уравнивают. Виновный будет наказан вежливостью до Крещения».

Потом пришёл трубочист.

Он был маленький, чёрный с головы до ног, с белыми зубами и с белыми белками глаз, и поздравил прибауткой, которую, видно, повторял сегодня в сороковой раз: «С Новым годом, с новым счастьем, чтоб тяга в трубе была, а сажа со двора ушла». Рифма «была – ушла» была настолько плохой, что Корсаков дал трубочисту двугривенный сверх гривенника: за смелость.

Потом пришёл фонарщик. Потом мальчик из мелочной лавки с открыткой от хозяина, с ангелом, и ждал. Потом снова пришёл трубочист.

Корсаков взгляделся.

Этот трубочист был умыт. У него было розовое лицо, мокрые волосы, расчёсанные на пробор, и чистые руки. И прибаутку он сказал ту же, про тягу и сажу, слово в слово, только глядел при этом в угол.

— Ты уже был, – сказал Корсаков.

— Никак нет, барин, – отозвался трубочист с достоинством. – Это брат был. Мы двоюродные.

Корсаков перевёл взгляд на его уши. В ушах у двоюродного брата была сажа.

Он уже открыл рот, чтобы сказать что-нибудь из устава, которого не было, когда из сеней, где была дверь в кухонный коридор большого дома, вышла Матрёна. Она несла поднос. На подносе стояли пустые тарелки, стопкой, и стакан.

Матрёна принимала поздравителей в кухне с самого утра: каждому подносили рюмку и кусок пирога и только потом

отправляли во флигель к барину. Корсаков понял это, когда заметил, что все приходят к нему уже раскрасневшиеся.

Матрёна оглядела умытого трубочиста. Потом верхнюю тарелку в стопке.

— А ты, голубь, у меня уже кушал, — объявила она. — Корочку оставил. С краю. Ты и тогда корочку оставил. Зубами маешься, что ли?

Трубочист покраснел. Даже под мытым лицом было видно, как он покраснел.

— Так точно, — признался он. — Маюсь.

— Ну вот. — Матрёна поставила поднос на подоконник. — Барин тебе уже давал. Иди с Богом. А зуб надо тянуть, а не маяться. К фельдшеру на Лиговку сходи.

Трубочист ушёл. Корсаков повернулся к Матрёне с уважением, которое испытывал к хорошим профессионалам в любом ведомстве.

— Как ты его узнала?

— По тарелкам, барин! — с достоинством ответила Матрёна. — По тарелкам всё видно. Кто как ест, тот такой и есть. — Она взяла поднос. — Двенадцатый был. Больше не будет, разве что певчие из церкви. Певчим дают от дома, барину не надо. А вы бы добрались. Половина лица у вас праздничная, а половина будничная.

Она ушла. Корсаков глянул в зеркальце на стене. Мыло на левой щеке засохло и треснуло, как земля в засуху.

Он добрился.

Илья спал до полудня. Спал, как спят семнадцатилетние во всех веках: поперёк кровати, с одной ногой на полу, с лицом в подушке, в Колиной фланелевой рубашке, которую так и не снял с вечера. На полу у кровати лежала куртка на молнии, синяя, и рядом с ней кроссовки, серые после давней Прохоровой ваксы и Матрёниного скипидара.

Корсаков постоял в дверях маленькой комнаты.

Вчера, в последний вечер года, они сидели во флигеле вдвоём до часу ночи и не говорили о главном. Илья рассказывал, как Ершов чуть не утопил в опытовом бассейне новую модель, потому что «типа забыл, что у неё дно открывается», и как кто-то из флотских, заглянувших в бассейн, оглядел мокрую модель, мокрого Ершова и сказал одно слово, хорошее, флотское. Корсаков не рассказывал, зачем ходил на Таврическую. Илья не спрашивал.

В полночь на Знаменской кто-то пустил шутиху, потом вторую. Илья поднял стакан с чаем и сказал: «Ну, пап. С две тысячи седьмым». И сам засмеялся, потому что вышло глупо, и Корсаков засмеялся тоже, потому что вышло правильно.

Две тысячи седьмой там давно начался, без них. Там, через сто лет и четыре дня, сейчас было утро восемнадцатого января, четверг, и мама Ильи, может быть, уже ехала в метро на работу и не знала, где они оба.

В ящике стола, в соседней комнате, лежали два листа на белой бумаге, какой не делали в этом веке, с датой

«13.10.05» и с последней строкой, одинаковой на обоих: «Сына беречь». Ящик был закрыт. Корсаков не открывал его с той минуты, когда вынул оттуда векселя Ракшина, чтобы отвезти их в холодную печь на Таврической.

Решение было принято в декабре. В следующую ясную ночь, когда откроется, они уйдут вдвоём. Отец и сын. Решение лежало в доме, как лежит в доме собранный чемодан, о котором никто не говорит, но который все обходят.

Илья пошевелился, сказал в подушку что-то неразборчивое, похожее на «пап, отстань», и натянул на голову одеяло.

Корсаков тихо закрыл дверь.

II

Знаменская улица, дом сенатора Велехова. 1 января 1907 года, день.

В большом доме принимали с трёх.

Корсаков знал это от Прохора, который ещё в декабре, подавая чай, сообщил ему, глядя в стену, что «его превосходительство на Новый год утром изволят ехать в Царское с поздравлением, а у себя принимают с трёх, как при покойной барыне», и что «господину секретарю, само собой, не по карточке, а лично». Это «само собой» Прохор произнёс тем тоном, каким произносят то, что совсем не само собой, и Корсаков его понял. Его поздравление будет первым испытанием года.

Илью пришлось будить трижды.

На третий раз он сел на кровати, уставился на отца мут-

ными глазами и спросил, какой сейчас век. Корсаков сказал, что двадцатый. Илья сказал «блин» и лёг обратно. Потом сел снова, потому что вспомнил про пирог, который Матрёна обещала с вечера «к визитам», и через десять минут стоял у двери умытый, в Колином сером пиджаке, который был ему короток в рукавах, и в кроссовках.

— Ботинки.

— Пап. Новый год.

— Ботинки, Илья.

Илья вздохнул всей грудью, как вздыхают в семнадцать лет над несправедливостью мира, и пошёл переобуваться.

Визитные карточки Корсаков заказал перед Рождеством на Невском: сотня, плотный картон, «Дмитрий Сергеевич Корсаков». Без чина, потому что чина не было. Без адреса, потому что адрес был чужой. Пачка лежала на столе, и Илья, натягивая ботинки, взял одну и стал разглядывать с тем лицом, с каким разглядывал в этом веке всё: с недоверием и интересом.

— Это типа визитка, – определил он. – Как у менеджеров. А телефон где? И почта?

— Здесь это не нужно.

— А как тебя найти?

— Здесь, кому надо, тот и так найдёт, – ответил Корсаков и только тогда услышал, что это правда.

В передней большого дома, на столике у двери, стоял серебряный поднос, и на нём уже лежала горка карточек: тех,

кто проехал мимо, не выходя из саней, или прислал человека. У некоторых карточек был загнут угол. Прохор, в новой ливрее, стоял у подноса, как часовой у знамени.

Илья, проходя, взял верхнюю карточку и повертел её, разглядывая загнутый угол.

— А это что? Помялась?

— Никак нет-с, — ответил Прохор, не шевельнув ни одним мускулом лица. — Загнутый уголок означает, что господин изволили приехать сами. Лично. А ежели не загнут, значит, прислали человека.

Илья подумал.

— Типа как эсэмэска, — шепнул он отцу. — Сам набрал или с чужого телефона скинули.

Прохор этого не понял, но то, что не понимал, он не одобрял заранее. Он положил карточку обратно на поднос, ровно, уголком вверх, и открыл перед ними дверь в зал.

Велехов стоял у окна.

Он был ещё в сенаторском мундире, в котором утром ездил в Царское, с орденом на шее, и опирался на палку, без которой не ходил с августа. Рядом с ним, в кресле у камина, сидела Анна Аркадьевна, тётка, в лиловом, с лорнетом. Чуть поодаль, у рояля, стояла Лёля, и Корсаков, войдя, первым увидел её, хотя смотреть ему полагалось на хозяина.

— Ваше превосходительство, — начал он по форме. — Позвольте поздравить вас с Новым годом и пожелать...

— Благодарю вас, Дмитрий Сергеевич, — произнёс Ве-

лехов и наклонил голову. Ровно на столько, на сколько её наклоняют перед секретарём, которого ценят. Ни на волос больше. — И вас также. Здоровья. Благополучия. — Он помедлил. — Покоя. — И, будто вспомнив пустяк: — Генерал Дедюлин в Царском спрашивал о вас. Просил передать поздравление. — Ещё пауза, короче первой. — Только поздравление.

Не «счастья» и не «успехов». «Покоя». Корсаков принял это, как депешу: прочёл и оставил без ответа. Дедюлин думал до сих пор.

В ноябре, когда всё стало известно, Велехов пообещал не выдавать его и не возить больше ни одной его записки, пока не решит сам, а решать он будет долго, может быть, до весны. С тех пор Велехов был вежлив той вежливостью старых чиновников, которая заменяет и упрёк, и прощение, и отказ от разговора, и которую нельзя опровергнуть, потому что она ничего не говорит. Корсаков умел её читать. Он читал в ней одно: решение ещё не принято.

Зато к Илье Велехов повернулся всем телом.

— Илья Дмитриевич. С Новым годом. — Голос стал на полтона теплее. — Господин Ершов писал мне перед праздником. Он пишет, что вы ему необходимы. — Велехов помолчал. — Я ответил ему, что вы необходимы всем, кто вас знает, и что это ещё не причина сидеть на бассейне до одиннадцати ночи.

Илья покраснел до ушей. Он открыл рот, закрыл и наконец выдал:

— Спасибо. То есть... покорнейше благодарю, Константин Аркадьевич.

Анна Аркадьевна подняла лорнет.

— Он выучил, — сообщила она в пространство, по-французски, и сразу же по-русски, для ясности: — Константин, мальчик выучил! Я говорила, что он не безнадёжен. Я всегда это говорила. — Она опустила лорнет. — Когда он прошлой весной сказал мне «прикольная шляпка», я так и сказала: не безнадёжен. Просто диалект.

На серебряном подносе у локтя Велехова, на маленьком столике, лежали карточки и конверты, которые Прохор приносил ему с утра. Велехов разбирал их между визитёрами, не глядя на гостей, коротко, как разбирал в Сенате входящие. Корсаков видел, как он берёт карточку, читает и откладывает в одну из трёх стопок.

— Ответить карточкой, — проговорил Велехов вполголоса, для себя, и отложил. — Ответить визитом. — Отложил. Взял плотный конверт с министерским штемпелем, вскрыл, пробежал глазами. — Принять к сведению.

И положил министерство в третью стопку, где лежала одна карточка, от кого-то, кого принимали к сведению тоже.

Лёля улыбнулась. Корсаков видел это краем глаза. Илья не понял.

Они пробыли в зале положенные десять минут. Потом пришли следующие: два генерала и тайный советник с супругой, которая с порога пожаловалась Анне Аркадьевне,

что из-за придворного траура пришлось перешивать платье в чёрное, и Корсаков с Ильёй отступили к дверям, как отступает тот, чьё время вышло.

Лёля догнала его в малой гостиной.

Илья ушёл вперёд, в столовую, к закускам для визитёров. Они остались вдвоём у окна. За окном шёл снег, первый в этом году, мелкий, сухой, и на Знаменской тянулись друг за другом сани с визитёрами: в медвежьих полостях, с кучерами в синих кафтанах, с лакеями на запятках, которые соскакивали у каждого подъезда и бежали к швейцару с карточками.

— Сколько вы сегодня раздали? – спросила Лёля.

— Шесть рублей сорок копеек, – отчитался Корсаков. – Трубочист приходил дважды. Второй был двоюродный.

— Матрёна его поймала?

— По тарелкам.

Лёля засмеялась. Тихо, коротко, и сама удивилась, что смеётся. Это был первый день за полтора года, когда ей не нужно было спешить ни в клинику, ни к постели раненого, а ему ни на Таврическую, ни в Царское, ни во второй двор на Пушкинской. День, в котором можно стоять у окна и смотреть на снег.

Он не знал, что с ним делать.

— Что вы будете делать в этом году? – спросила Лёля.

Она спросила легко, глядя в окно.

— Визиты.

— Весь год?

— Сегодня. Дальше не загадываю.

Она кивнула.

— Звягин прислал папе поздравление, — сообщила она. — Открытку с видом Пулкова. И вложил таблицу на год. Папа отдал мне. — Она помолчала. — Я её не читала. Она лежит у меня в столе. Если вам нужна, возьмите.

Корсаков знал эту таблицу наизусть, хотя её не видел. Он мог бы назвать ей все двенадцать ночей. Первая: с шестнадцатого на семнадцатое января. Через пятнадцать дней.

— Не нужна.

— Я так и думала.

Они стояли у окна, снег шёл всё гуще, и у подъезда напротив лакей уронил в сугроб пачку карточек и собирал их, ползая на коленях, а кучер взирал на него с козел с неземным покоем, с каким кучера глядят на чужие несчастья в праздник.

Она не спросила про шестнадцатое. Он не сказал. Это было между ними, как стекло окна: прозрачное, холодное, и оба смотрели сквозь него на снег.

III

Гороховая улица, канцелярия градоначальства. 2 января 1907 года, вторник.

Есть в казённом Петербурге особые дни, между Новым годом и Крещением, когда учреждения уже открыты, а служба в них ещё не началась. Чиновники приходят к одиннадцати,

с лицами людей, которые три дня ездили с визитами и пили за здоровье начальства, курьеры носят бумаги медленнее, просители ждут дольше, и всё движется, и ничто не продвигается, как вода подо льдом. А в этом году канцелярия на Гороховой жила к тому же без хозяина: градоначальника убили за одиннадцать дней до Нового года, нового ещё не успели прислать, и большой дом на углу Адмиралтейского проспекта походил на корабль, у которого снесло капитанский мостик, а машина продолжает работать сама, по заведённому, и никто не знает, куда она идёт.

Корсаков пришёл в одиннадцать и ждал до половины первого.

Дело было простое и потому опасное. В июле, после облавы, Илью записали в книгу участка пристава Иллариона Саввича как Илью Фролова, лужского мещанина, племянника надзирателя Лузгина, утерявшего паспорт. На поручительство Лузгина приставу пришлось выдать ему полицейское свидетельство взамен вида. Свидетельство по закону давалось не больше чем на полгода. Полгода истекали двадцать третьего января.

Прошение Корсаков подал ещё в декабре, через Лузгина, по всей форме. Оно ушло на Гороховую и пропало там, как камень в пруду. Теперь он пришёл узнать, где круги.

Столоначальника звали Тюрин. Это был маленький аккуратный человек лет пятидесяти, с прямым пробором, с бородкой, подстриженной по линейке, и в чёрных нарукавни-

ках. Дело Ильи Фролова лежало у него на столе, в синей обложке, тонкое, как блин.

— Извольте видеть, Дмитрий Сергеевич, — начал Тюрин, раскрывая обложку двумя пальцами. — Свидетельство выдано на шесть месяцев. Это предельный срок. Продления закон не знает. — Он поднял палец, не грозя, а указывая на невидимую статью над головой. — Дозволяет закон одно: получить паспортную книжку. По новому указу её и у нас пристав выпишет, по месту жительства. Да только пристав без бумаги с места приписки самоличности не удостоверит. Стало быть, мы запрашиваем Лужскую мещанскую управу. Управа наводит справки, высылает книжку или отзыв. Это, по нынешнему времени... — Он повернулся к окну, к снегу, как к справочнику. — К Пасхе.

— А до Пасхи?

— А до Пасхи, — Тюрин вздохнул с искренним сочувствием, — по истечении срока полиция выдаёт удостоверение на отбытие в место постоянного жительства. Проходное, по-нашему. В семидневный срок. — Он развёл руками. — Не мы придумали, Дмитрий Сергеевич. Статья.

Корсаков сидел на жёстком стуле для просителей, рассчитанном на то, чтобы проситель не засиживался.

Запрос в Лугу. В Луге не было никакого мещанина Ильи Фролова. Не было его метрики, не было его родителей, не было ни одной строчки в мещанских книгах. Управа ответит через три месяца, что такого не числится, и с этой ми-

нуты Илья перестанет быть племянником надзирателя Лузгина, потерявшим паспорт. Он станет человеком, назвавшимся чужим именем, а Лузгин станет надзирателем, поручившимся службой за самозванца. А проходное свидетельство означало, что через семь дней после двадцать третьего января Илья должен будет уехать в Лугу, в которой у него никого нет, а если не уедет, его вышлют туда мерами полиции.

Был, конечно, ещё один способ, который в этом здании знал каждый курьер. Корсаков прикинул его: сколько, кому, через кого. И отложил. Не из чистоплотности. Из ремесла. Человек без прошлого, с паспортом от охранного отделения, давший взятку в канцелярии градоначальства, сам вручает кому-то поводок, и этот поводок потом можно предъявить. Карабанов ждал именно такого товара. В сочельник он сам сказал, что умеет ждать.

— А если запрос не посылать? – спросил Корсаков.

Тюрин посмотрел на него с тем вежливым непониманием, с каким смотрят на иностранца, который спросил, нельзя ли переставить Исаакиевский собор.

— Нет-с, – сказал он. – Так не можем.

— А если выдать новое свидетельство на новый срок? Раз первое выдано участком, а это другой стол.

— Нет-с, – сказал Тюрин с тихим удовольствием мастера, у которого спросили, нельзя ли подшить сапог гвоздём. – Так тоже не можем. Срок исчисляется по лицу, а не по столу.

Корсаков поблагодарил и встал. Тюрин поднялся тоже,

оказался ему по плечо и поклонился.

— Запрос мы отправим после Крещения, — сказал он на прощание. — Раньше не выйдет: праздники. А вы, Дмитрий Сергеевич, не извольте беспокоиться. У нас все, кто без вида, к Пасхе получают. Или уезжают.

Корсаков вышел на Гороховую. Шёл снег. Два городских в башлыках у подъезда проводили его скупающим взглядом: так провожают тех, кто вышел из канцелярии ни с чем.

Он пошёл пешком к Адмиралтейству и по дороге раскладывал положение по пунктам, хотя обещал себе не раскладывать сегодня ничего.

Двадцать третьего истекает свидетельство. Шестнадцатого откроется окно, если будет ясно. Если откроется, бумага не понадобится: в две тысячи седьмом году лужскую мещанскую управу никто не запросит. Если не откроется, через неделю после двадцать третьего за Ильёй придут.

Значит, бумага нужна на случай, если небо не пустит. Чемодан собран, но кто-то должен ещё и заплатить за квартиру, на случай если поезд не придёт.

«Везёт же тебе, полковник, — сказал он себе. — Первый рабочий день года, и уже двойное планирование. Как дома».

IV



Гороховая улица и Знаменская. 4 января 1907 года, четверг.

Посыльный с Гороховой пришёл в четверг, в десятом часу утра.

Это был курьер канцелярии, немолодой, с медной бляхой на шапке, и он передал не бумагу, а слова: столоначальник Тюрин покорнейше просит господина Корсакова пожаловать, когда ему будет удобно, сегодня. Корсаков пожаловал через сорок минут.

Тюрин встретил его стоя. Синяя обложка лежала на столе, а поверх неё лист: плотный, с печатью, с подписью, ещё пахнувший чернилами. Тюрин взял его обеими руками, как дорогую чашку, и подал.

С.-Петербургское Градоначальство.

Свидѣтельство.

Выдано сіе Лужскому мѣщанину Ильѣ Фролову, 17 лѣтъ, въ томѣ, что ему дозволяется проживать въ С.-Петербургѣ впредь до полученія паспортной книжки, срокомъ по 4 іюля 1907 года.

Корсаков прочёл дважды и задержался на печати.

— Запрос в Лугу? – спросил он.

— Отправим, – заверил Тюрин и опустил глаза на наручники. – Своим чередом. Спешить не будем. Луга, знаете ли, далеко. – И совсем тихо, не поднимая глаз: – Благодарю

вас за понимание, Дмитрий Сергеевич. Всё, как условились. Корсаков смотрел на его пробор. Пробор был безупречен. — Мы ни о чём не условились, Тюрин.

Тюрин моргнул. Потом улыбнулся, совсем чуть-чуть, одними глазами.

— Само собой-с, — согласился он. — Ни о чём.

— Кто к вам приходил?

Улыбка у Тюрина не исчезла, но стала другой: закрытой, как закрывают ставню.

— Я, Дмитрий Сергеевич, человек маленький, — произнёс он. — Лиц не запоминаю. Мне не положено. — И поклонился, давая понять, что разговор окончен, и поклон был ниже, чем во вторник, на два пальца. Во вторник Корсакову кланялись как просителю. Сегодня как человеку, за которого заплатили.

Вечером он сидел во флигеле один, при лампе, над свидетельством.

Ему помогли. Это был факт. И факт неприятный вдвойне: бумага, выданная поверх июльской вопреки той самой статье, которую Тюрин во вторник показывал пальцем над головой, была не защитой, а уликой. Любой, кто положит рядом два свидетельства, увидит, что одно выдано незаконно, и спросит, кто за это заплатил. Кто-то пришёл к Тюрину между вторником и четвергом, назвался или не назвался, и сделал то, чего Корсаков делать не стал. Тюрин был уверен, что пришедший пришёл от Корсакова. Значит, пришедший так

сказал. Или дал понять. Или Тюрин сам так решил, потому что на свете есть только одна причина платить за чужое свидетельство: свой интерес.

И ещё одно. Пришедший знал, что лужский мещанин Илья Фролов имеет отношение к господину Корсакову. Это знали немногие: Лузгин, пристав Илларион Саввич, Велехов, Лёля. Дедюлин, которому он на Рождество рассказал всё. И Карабанов. «Сын ваш у меня, в книге пристава».

Корсаков перебрал их по одному.

Лузгин подавал прошение сам и, сделай он больше, сказал бы: он за двадцать с лишним лет ни разу не соврал в рапорте и врал только один раз, приставу, за Илью. Лёля не знала Тюрина и не стала бы платить тайно: она не умела делать за спиной то, что можно сделать в лицо. Пристав был должен Лузгину, а не Корсакову.

Велехов знал о сроке. Но Велехов не возил больше его записок, а если бы решил помочь, помог бы так, как делал всё: открыто, с бумагой за своей подписью, и сказал бы об этом за обедом одной сухой фразой. Велехов не платил столоначальникам в нарукавниках. Скорее, написал бы о них в Сенат.

Дедюлин. Дедюлин «подумает». Человек, который думает, не делает одолжений тому, о ком думает, иначе это будет уже не дума, а решение. А дворцовый комендант, если бы решил, прислал бы на Гороховую одну строку на бланке, и Тюрин кланялся бы этой строке, а не ему, и не шептал бы о понимании.

Лавров о Фролове, может быть, и не знал. Но у Лаврова не было и причины. А у начальника Разведочного отделения не бывает услуги без просьбы, которая придёт следом.

Был ещё Карабанов. Корсаков подержал эту мысль и тоже отложил. Карабанов платил так, чтобы ты знал, кому должен. Тайный подарок без счёта был не в его вкусе. Его вкус был: «Бумаги не тонут, их кладут».

Корсаков отверг всех, как отвергал версии на совещаниях в своём веке, и остался с тем, с чем остаются после отвергнутых версий: с фактом без объяснения.

В его опыте бесплатного не бывало. Бесплатное было тем, за что уже заплатили без тебя. Счёт приходил потом, и всегда на другое имя.

Дверь хлопнула. Илья вошёл с мороза, красный, в инее, сбросил куртку на табурет, потянулся к чайнику и увидел на столе бумагу.

— Это что?

— Ты, – сказал Корсаков. – До четвёртого июля.

Илья взял свидетельство. Прочёл, шевеля губами, спотыкаясь на ятях, как спотыкался полгода.

— Лужскому... мещанину... – Он поднял глаза. – Офигеть! Я теперь легальный?

— До июля.

— Круто. – Илья положил бумагу. Подумал. – Пап, а нам же до июля... – Он не договорил. Посмотрел на отца, потом на тёмное окно, за которым над каретным сараем не было ни

одной звезды, и сел наливать чай.

Корсаков промолчал. Он знал, чего Илья не договорил. И знал, что сын не спросил, кто заплатил. Может быть, не пришло в голову. А может быть, пришло, и он решил не спрашивать, как не спрашивал полгода ни о чём, что могло испортить отцу вечер.

Когда Илья ушёл спать, Корсаков открыл ящик стола.

Задачи лежали там, где он их положил двадцать третьего декабря: два листа белой бумаги, какой не делали в этом веке, текстом вниз. Рядом фотография Ракшина с надписью «Беречь» на обороте. Рядом листок из блокнота с почерком генерала. Он положил свидетельство поверх.

И, задвигая ящик, заметил, что это теперь ящик для всего, чего он не понимает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.